

ГОРЬКИЙ

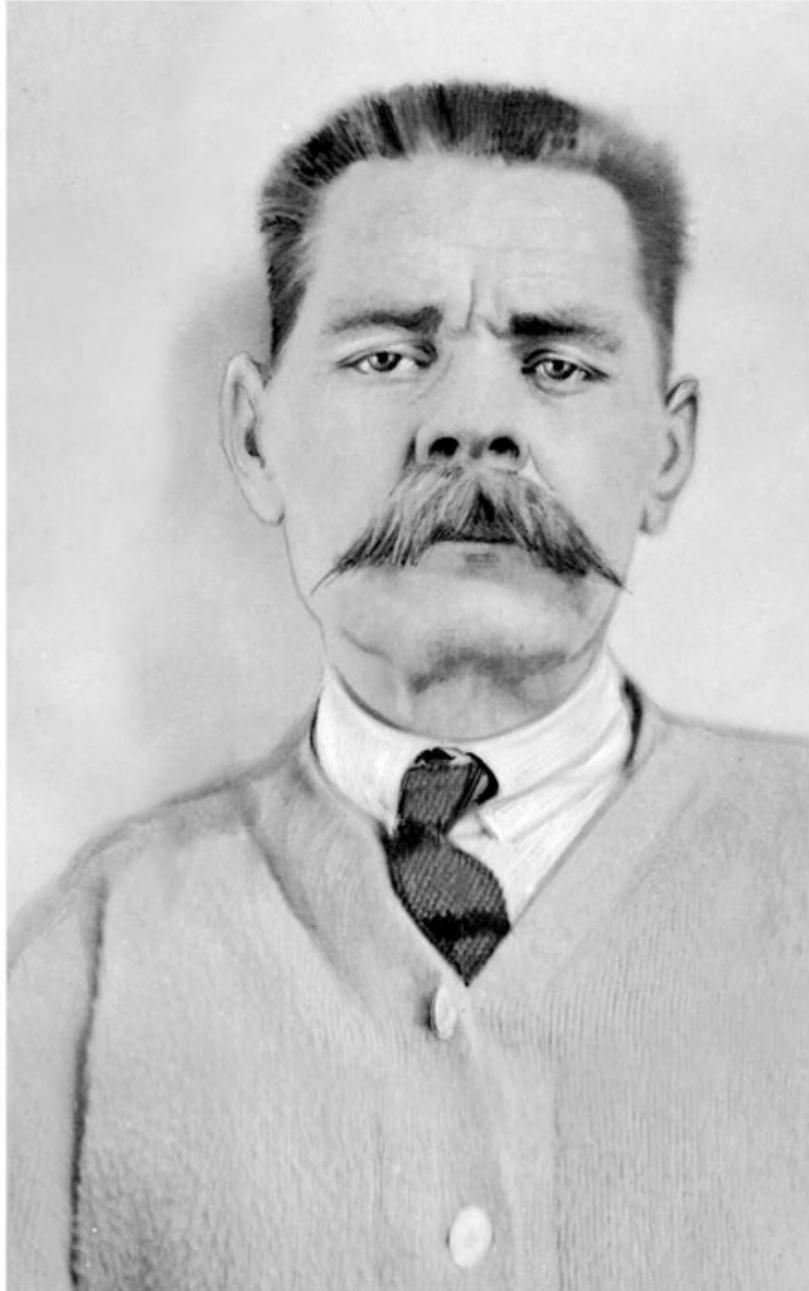
Д.Б.

ГОРЬКИЙ



ДМИТРИЙ
БЫКОВ

ЖЗЛ
KUNST
серия



Дмитрий Быков

А был ли Горький?



Москва
Молодая гвардия
2021

Информация от издательства

Художественное оформление Алексея Наумова

Быков Д. Л.

А был ли Горький? / Дмитрий Быков. — М.: Молодая гвардия, 2017.

ISBN 978-5-235-04648-1

Максим Горький — знаменитейший советский писатель, увековеченный в названиях городов, улиц, самолетов и почти исчезнувший из культурного обихода в новую, постсоветскую эпоху. Много лет его превозносили как «буревестника революции», преданного приверженца и пропагандиста коммунистических идей, а потом за это же осуждали. Между тем он никогда не был стопроцентным большевиком, его творческий метод не укладывается в прокрустово ложе «социалистического реализма», а его биография далека от стандартов пролетарской морали. В книге известного писателя, поэта, историка литературы Дмитрия Быкова Горький предстает незаурядным человеком, выдающимся мастером русской прозы, свидетелем и летописцем великих исторических событий.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

16+

© Быков Д. Л., 2017

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2017

от автора

Эта книга была написана в 2007 году как сценарий четырехсерийного научно-популярного фильма для Петербургского телевидения. Как обычно и бывает, востребована оказалась примерно треть сценария, и он зажил собственной книжной жизнью под названием «Был ли Горький?» (М.: АСТ, 2008).

Хотя интерес к советской литературе, не предсказанный только ленивыми, в последнее время вернулся и с каждым годом растет, положение Горького в российской словесности по-прежнему остается сложным и даже двусмысленным. Он уже не считается классиком соцреализма, поскольку дезавуировано само понятие «соцреализм», в самом деле искусственное и, пожалуй, бессодержательное. Горький, во всяком случае, никаким соцреалистом не был. Он вообще не вписывается в рамки литературных направлений, течений и групп — это часть его литературной стратегии, на редкость продуманной и рациональной. Для советской власти Горький слишком сложен и неортодоксален, а для внеидеологических постсоветских времен чересчур ангажирован, слишком тесно связан с революционным движением, а в сталинские времена — и с официозом. Самый знаменитый советский писатель, увековеченный в названиях городов, улиц, самолетов, — он никогда не был стопроцентным большевиком и часто ссорился с Лениным; канонизированный официальным литературоведением — выбивался из любых канонов и разрушал собственный образ. Много значения придавая литературной репутации («Я хочу быть похороненным в приличном гробе»), он едва не уничтожил эту репутацию, откровенно солидаризируясь с палачами, если уж называть вещи своими именами. Только огромный литературный талант и выдающаяся интуиция (заставившая его, в частности, воздержаться от публикации пьесы о шахтинском процессе «Сомов и другие») позволили ему вопреки всем собственным

метаниям и крайностям остаться в литературе и, более того, в активном читательском обиходе.

Ранний Горький искренне верил в то, что человечество нуждается в перековке, переплавке, что проект неудачен и будет радикально обновлен; зрелый Горький верит только в силу культуры и отрицает революцию; поздний Горький полагает, что справиться с темными инстинктами массы могут только насильственное просвещение и железная рука большевизма, который кажется ему единственной альтернативой фашизму и одичанию. У всех этих Горьких найдутся сегодня свои единомышленники, и каждый читатель ценит в нем свое: кому-то мил желчный психологизм и антиинтеллигентский пафос «Самгина», кому-то — насмешливая точность «Русских сказок» и убийственные разоблачения из его послереволюционной публицистики (не зря статья «О русском крестьянстве» не печаталась в России 80 лет). Кто-то любит только ранние сочинения — не за наивный их романтизм, конечно, а за изобразительную мощь, которая остается, как ни крути, главным критерием оценки писателя. Горький писал довольно скучные романы (даже «Клим Самгин», написанный лаконичнее и точнее ранних книг, в этом смысле не исключение), но русскую новеллу он реформировал радикально, безупречно пародируя шаблонные сюжетные ходы и поверяя их грубой реальностью, отлично ему известной.

Было время, когда в Горьком ценили прежде всего изображение нового героя, босяка-ницшеанца; со временем стала очевидна вся ходульность этого героя, и сегодня в Горьком обаятельнее всего фабульная динамика, двойной, а то и тройной финал, чаще всего непредсказуемый, и довольно циничный юмор, который удаётся ему куда лучше, чем романтическая возвышенность. На фоне Чехова и даже позднего Толстого лучшие рассказы Горького — в особенности те первоклассные новеллы, которые он писал в эмиграции, в двадцатые годы, выпуская сборники «Заметки из дневника» и «Рассказы 1922—1924 годов», — ничуть не проигрывают. Горький был одним из сильнейших прозаиков русского

Серебряного века, в котором, кстати, и выбирать особо не из чего: поэтов, способных составить славу любой европейской литературы, несколько десятков, а прозаиков, кроме Горького, — Мережковский, Белый, Куприн, Бунин, Грин (да еще, может быть, Розанов, если считать его прозаиком). На этом фоне Горький — безусловно звезда, а уж в молодой советской литературе, крайне примитивной даже на фоне масскульта десятых годов, рядом с ним попросту некого было поставить. Шкловский в «Гамбургском счете» справедливо замечал, что «Горький сомнителен (часто не в форме)», но когда он бывал в форме, то весь гениальный литературный молодняк двадцатых — Бабель, Булгаков, Катаев, Леонов — затмить его не мог. Нравится это кому-то или нет, но Горький, опознаваемый с первой строки и не перестававший учиться до последнего дня, в том числе у молодых, к которым он относился ревниво, но благожелательно, — в русской литературе остался и свое слово в ней сказал. Попыткой взглянуть на его литературный путь без идеологической предвзятости и стала эта книга.

Что касается собственно человеческой и, так сказать, политической биографии Горького, тут он тоже «часто не в форме» и многие слова и поступки (особенно слова, ибо в поступках он был щепетилен) его отнюдь не красят. Тут и дружба с Ягодой, и поездки на Соловки и Беломорканал, и лозунг о несдающемся враге, которого уничтожают; трудно сказать, что больше компрометирует его — ярая просоветскость тридцатых или полное непонимание сути происходящего в семнадцатом, когда он писал «Несвоевременные мысли». Он, разумеется, помог куда меньшему числу людей, чем мог бы, зато вывел в литературу десятки бездарностей, неустанно воспитывая и вербуя писателей из низов. Но нельзя не признать, что без него многие подлинные таланты просто не выжили бы, — неизменно заботясь о собственной репутации (а это не худший стимул), он никогда не оттеснял талантливых коллег. Зависть, кажется, вообще была ему не слишком знакома — может быть, потому, что он сам был избалован

ранней славой и ценил себя, несмотря на подчеркнутую скромность, весьма высоко. Из его бесчисленных издательских начинаний выжили немногие (в частности, советская версия павленковской серии «Жизнь замечательных людей»), но те, что выжили, сделали нелегкую жизнь советского читателя богаче и человечнее. Горький был и останется титаном русского просвещения, в одном ряду с Некрасовым, Чернышевским, Луначарским; все эти весьма несхожие люди одинаково верили в то, что освобождают человека не перевороты, а книги. Впрочем, слишком уж ругать перевороты тоже не стоит — иногда книги не помогают, — но без способности сомневаться, которую может развить в человеке только культура, никакие реформы и революции ничего не изменят; кто-кто, а мы имели шанс в этом убедиться.

Сегодня никто не заставляет нас любить Горького. Но помнить его необходимо — и вряд ли кто способен лучше, чем он, научить сопротивляться мнениям большинства и уважать правду одиночек. В нем были азарт, радость работы, ненависть к априорному кислому презрению, которым заражен в России каждый второй: это делает его ошибки более значительными и привлекательными, чем абсолютно правильное поведение людей из описанной им прослойки «Мы говорили».

Чтобы напомнить об этих его качествах, я и написал эту книжку, не претендующую ни на объективность, ни на полноту. Но она, кажется, по крайней мере не скучная.

Дмитрий Быков
Москва, декабрь 2015 года

бродяга

1.

Максим Горький обогатил советскую разговорную речь десятками цитат. Ну, навскидку: «Безумству храбрых поем мы песню»; «Человек — это звучит гордо»; «Пусть сильнее грянет буря»; «Ни одна блоха не плоха: все — черненькие, все — прыгают». «Свинцовые мерзости жизни» — это иногда приписывают Чехову, но сказал-то Горький, в повести «Детство». Это частое цитирование обусловлено было, конечно, не только выразительностью горьковских диалогов и хлесткостью определений, но и особым его статусом в советском пантеоне: главный советский прозаик, основатель целого литературного метода, который Бухарин назвал «социалистическим реализмом». Большая трудовая биография, огромный опыт странствий по России — все это рекомендовалось писателю. Выдумывание «из головы» не приветствовалось. Горький навязывался в качестве литератора, деятеля, мыслителя, друга власти, защитника интеллигенции. В тридцатые ходила острота, что всё у нас теперь имени Максима Горького. Самолет «Максим Горький». Пароход «Максим Горький». Парк имени Максима Горького. Да и сама жизнь — максимально горькая. Придумали это не то Стенич, не то Радек, а то будто бы и Олеша, но художник Юрий Анненков, хорошо его знавший, уверяет, что словцо запустил он сам — самоироничность Горького была общеизвестна. Сказал же он Лидии Сейфуллиной в 1933 году: «Меня теперь везде приглашают и окружают — почетом. Был у пионеров — стал почетным пионером. У колхозников — почетным колхозником. Вчера посетил душевнобольных. Видимо, стану почетным сумасшедшим».

От всего этого осталось очень мало. Город Горький

переименован обратно в Нижний Новгород, из школьной программы исключено основополагающее произведение социалистического реализма «Мать», сочинения Горького переиздаются редко и продаются неважно — скажем, полное собрание, подготовленное издательством «Наука» в семидесятые, уходит в букинистическом за тысячу рублей. А из всех горьковских цитат самой употребительной оказалась в результате одна, никакого отношения не имеющая к безумству храбрых или к гордо звучащему человеку. Это фраза из романа «Жизнь Клима Самгина» — помните сцену, когда в проруби тонет одиннадцатилетний Борис Варавка, заклятый враг Клима? Он провалился под лед вместе с тучной, бесцветной Варей Сомовой и утонул, и что самое странное — его не нашли.

«И особенно поразил Клима чей-то серьезный, недоверчивый вопрос:

— Да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?»

Вот этот вопрос «А был ли мальчик?» — и есть самая употребительная сегодня горьковская цитата. Для нее теперь самое время. Сегодня кажется, что иначе мы и не жили никогда, что только так и можно, а любые великие задачи и утопические проекты с необходимостью ведут только к ГУЛАГам и отсутствию ширпотреба в магазинах. Были ли великая русская литература, русская интеллигенция, русская революция? Были ли, в конце концов, сам Горький?

2.

Кажется, в СССР, как и в каждой настоящей империи, сознавали недолговечность проекта и силу энтропии, поэтому старались оставить как можно больше памятников. Горький увековечивался множество раз, уступая, пожалуй, только Ленину. Ленин почти всегда ораторствует — то выбросив руку вперед, то засунув в карман, то сжав в кулак и прижав к боку, но все это как бы с трибуны или в крайнем случае с броневика. Все памятники Горькому — молодому ли, старому —

изображают его словно остановившимся с разбега, замершим после долгого пути: странствовал человек — и вдруг увидел нечто неожиданное или, как он любил говорить, «изумительное». Вот и застыл в недоумении, даже сняв шляпу, как петербургский памятник напротив станции «Горьковская», как бы изумляясь делу рук человеческих и запечатлевая всё в своей уникальной, всевместительной памяти — сам поражался ее всеядности и мучился ею в старости: «Лет с шестнадцати и по сей день я живу приемником чужих тайн и мыслей, словно бы некий перст незримый начертал на лбу моем: “здесь свалка мусора”. Ох, сколько я знаю и как это трудно забыть».

Это из письма Леониду Андрееву, в ответ на упрек в холодности и замкнутости. И действительно, контраст налицо: люди часто упрекали его в равнодушии — и они же страстно, охотно, при первой возможности выкладывали ему свои биографии и мнения, и он все это верно запоминал, чтобы когда-нибудь изложить. Запомнил, кстати, и за Андреевым, которого считал единственным другом. Странно, что Горький, этот жесточайший, брезгливый реалист, знаток чужих грязных тайн, умудрявшийся в каждом подметить отвратительную или смешную черточку, — всю жизнь проносил ярлык идеалиста и романтика. Хотя что ж тут странного: романтику и положено ненавидеть действительность, он ее не щадит, любя только мечту. Нет больших мизантропов, чем идеалисты. Потому-то столь многие и считали Горького холодным, расчетливым, никого к себе не допускающим, даже Лев Толстой говорил о нем: «Злой, злой. Ходит, высматривает и все докладывает своему неведомому Богу. А Бог у него урод». В последней по времени биографии Горького, написанной Павлом Басинским, содержится даже предположение, что Горький вполне мог быть инопланетянином, заброшенным сюда для наблюдений, и бесконечно чужим всему, что делалось вокруг. То-то и на памятниках он стоит как случайный пришелец, с зоркостью лазутчика и недоумением чужестранца вглядывающийся в нас.

Откуда он пришел?

3.

Говорят, люди, взявшие псевдоним, подчеркивают тем изначальную двойственность своей натуры: даже если подлинное имя почти исчезло, заслоненное выдуманным, — маска остается маской. К происхождению горьковского псевдонима мы еще вернемся, но заметим, что пресловутая двойственность стала основой его репутации: мало кого столь часто упрекали в двуличии, двурушничестве и даже двоедушии. Классической в горьковедении стала статья Корнея Чуковского «Две души Максима Горького» — ответ на собственную горьковскую статью «Две души», о разделении России на кровожадную деспотическую Азию и деятельную мыслящую Европу. Трудно сказать, насколько реальный Горький отличался от выдуманного, — биографию свою он излагал многожды, всякий раз с разными деталями, с подтасовками, на которых его ловили, — даже дат рождения у него две. Вспомните, как чувствовала его по случаю пятидесятилетия «Всемирная литература» — 16 марта 1919 года. Блок еще записал тогда: «День не простой, а музыкальный. Никогда этого дня не забыть».

Хрестоматийная история его жизни — бродяга, босяк, разнорабочий, выбившийся из нищеты в люди, — тоже не раз подвергалась сомнению. Еще при его жизни Бунин в язвительных мемуарах сводил счеты с бывшим другом и благодетелем: «Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? Все повторяют: “Босяк, поднялся со дна моря народного...” Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: “Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой паровой конторы, мать — дочь богатого купца красильщика”... Дальнейшее никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю...»

Апофеоз недоверия — в статье того же Чуковского «Максим Горький», писанной двадцатью годами ранее:

«Как хотите, а я не верю в его биографию.

Сын мастерового? Босьяк? Исходил Россию пешком? Не верю.

По-моему, Горький — сын консисторского чиновника; он окончил Харьковский университет и теперь состоит — ну хотя бы кандидатом на судебные должности. И до сих пор живет при родителях, и в восемь часов пьет чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в семь обедает. От спиртных напитков воздерживается: вредно.

И такая аккуратная жизнь, натурально, отражается на его творениях. Написав однажды “Песнь о Соколе”, он ровненько и симметрично разделил все мироздание на Ужей и Соколов, да так всю жизнь, с монотонной аккуратностью во всех своих драмах, рассказах, повестях — и действовал в этом направлении».

И дальше приводит штук десять примеров такого разделения — действительно аккуратного, по линейке.

Ну, начнем с того, что Брокгауз Бунину солгал и что Алексей Максимович Пешков родился в Нижнем Новгороде в два часа ночи 16 марта 1868 года по старому стилю. Его отец — Максим Савватьевич Пешков, мать — Варвара Васильевна, в девичестве Каширина. В один день с ним родились, кстати, великая русская просветительница Екатерина Дашкова, чешский гуманист Ян Амос Коменский, поэт Мерзляков (автор песни «Среди долины ровныя»), а также старший сын Ивана Грозного Иван — согласно легенде, убитый отцом в припадке гнева. Сам отец, царь Иван, в этот день, как известно, умер. Набор, как видим, весьма символический.

Басинский в своей книге проводит версию о том, что именно Алексей Пешков стал причиной краха каширинского рода. В общем убедительно: в трехлетнем возрасте он заболел холерой и заразил отца, который его выхаживал. Это случилось в Астрахани, куда Максим Пешков с семьей был откомандирован пароходством Колчина: он получил там должность конторщика. После его смерти жена там же,

в Астрахани, до срока родила второго сына, которого в честь отца называли Максимом, — но мальчик родился недоношенным и слабым, он умер по дороге обратно в Нижний и был похоронен в Саратове.

«Пароход. Глухой шум. Комната. Мимо окон куда-то бежит и пенится очень много воды. Я сижу у окна, круглого, как блин, и смотрю: кроме меня в комнате маленький гробик на столе, среди ее моя мать и бабушка. Я знаю, что в гробе лежит мой брат Максим, родившийся в день смерти отца и умерший через восемь после ее. Этот поступок его указывает на то обстоятельство, что он обладал недюжинным и очень проницательным умом» («Изложение фактов и дум...»).

Возвращение Варвары Пешковой в Нижний как раз и стало причиной краха каширинского красильного дела: братья перессорились из-за дележа наследства, поскольку не хотели уступать сестре ее законную долю. Тогда Василию Каширину пришлось разделить с сыновьями, оставив Варвару при себе. Дело от этого зачехло, и красильщик Каширин разорился. Конечно, никакой вины Алеши Пешкова во всем этом нет — виноват не он, а холера, да и не в холере дело, а в жадности, — однако способность приносить несчастье он заметил за собой рано. С ним в мир словно входили разлад, беспокойство, повеял ветерок из опасных сфер — не эту ли свою печоринскую особенность, вообще присущую людям одиноким и самостоятельным, он всю жизнь пытался компенсировать, чуть не насильно благотворительствуя направо и налево?

В конце 1871 года Варвара Каширина с сыном вернулась под отцовский кров, и началась та страшно густая, насыщенная, зверская и, по сути, совершенно адская жизнь, о которой Горький в 1913 году написал едва ли не самую известную свою прозу — повесть «Детство».

4.

«Когда читаешь его книгу “Детство”, — писал Чуковский, —

кажется, что читаешь о каторге: столько там драк, зуботычин, убийств. Воры и убийцы окружали его колыбель, и право, не их вина, если он не пошел их путем. Мальчику показывали изо дня в день развороченные черепа и раздробленные скулы. Ему показывали, как в голову женщины вбивать острые железные шпильки, как напяливать на палец слепому докрасна накаленный наперсток, как калечить дубиной родную мать, как швырять в родного отца кирпичами, изрыгая на него идиотски-гнусную ругань. Среди самых близких своих родных он мог бы с гордостью назвать нескольких профессоров поножовщины, поджигателей, громил и убийц. Оба его дяди по матери — дядя Яша и дядя Миша — оба до смерти заколотили своих жен, один одну, а другой двух, убили его друга Цыганка — и убили не топором, а крестом! В десять лет он и сам уже знал, что такое схватить в ярости нож и кинуться с топором на человека».

Дальше Чуковский выводит из этой беспросветной жизни и детского горьковского бунтарства всю так называемую «горьковщину», романтику бури, которая составила эпоху в русской литературе, — но, думается, здесь корень не столько бунта, сколько другой, куда более важной горьковской черты: вечного, врожденного недоверия к человеческой природе. Иной увидит здесь противоречие — да как же: «Человек — это великолепно! Человек — это звучит гордо!» Никакого противоречия нет: для Горького всё, что не зверство и не истязание, — уже подвиг. Он рассматривает человека от такого минуса, что любое — даже малейшее — проявление милосердия или самовоспитания начинает ему казаться чудом, достойным слез умиления, которые он и проливал в изобилии по любому поводу. Ведь если называть вещи своими именами, он вырос под властью патологического садиста. Дед его, Василий Каширин, однажды засекший его чуть ли не до смерти, избивавший бабуку в молодости целыми сутками, отдохавший и снова избивавший, — другого названия не заслуживает. Бабушка его, Акулина Ивановна, — одна из самых обаятельных женщин во всей русской литературе: большая, круглая, толстая, с басовитым голосом, с носом картошкой, с неисчерпаемым

запасом сказок, песен, поверий, с неистребимой лаской ко всем встречным и поперечным, с пристрастием к водке, с нищенской кротостью, — из рассказов ее можно понять, что в детстве она побиралась Христа ради, но послушать ее — и это хорошо:

«Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу, а как Гаврило-архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обьмет, — так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная; Пресвятая Богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут и сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведет песню на великую высоту, — голосок у ней не силен был, а звонок, — и все кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне; кувьркается по улицам из дома в дом, а на праздниках — по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то; бывало, не удастся чего — слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мне праздник!»

Страшная симметрия есть во всей этой истории, описанной Горьким в «Детстве», — ведь в конце концов и дед Каширин, державший всю семью в страхе, сойдет с ума и будет побираться. Бабушка это и предрекала:

«— Помяни мое слово: горестно накажет нас господь за этого человека! Накажет...

Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:

— Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх вы-и...

Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее,

волнующее душу:

— Эх вы-и...»

Именно этот эпизод, пронзительный, слезный, несмотря на весь понятный читательский ужас перед дедом Кашириным, скрыто процитирует Розанов в предсмертном письме Мережковским: «Творожка хочется, пирожка хочется...» Обратится он и к Горькому, с такой же нищенской мольбой о помощи, — часто о нем думал в эти последние годы; и Горький поможет, да поздно. Может быть, в детстве исток не столько его бунтарства, сколько мучительной жалости к людям: он столько навидался этой беспомощности, что в просьбах отказывать не мог. Да и ненависть его к слабым людям, которую так часто называли ницшеанской, — она, конечно, не от культа силы, а от того, что Гейне называл «зубной болью в сердце». Горький ведь так и написал в предсмертной записке, готовясь к юношескому самоубийству, не состоявшемуся, слава богу: «В смерти моей прошу винить Генриха Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце». Он так мучительно переживал сострадание, так часто говорил о содранной, обваренной коже собственного сердца («кожа сердца» — это его словцо, часто у него встречается), что не мог не возненавидеть страдание во всех его проявлениях, ну а заодно со страданием — и страдальцев. Босяки ему импонируют тем, что никогда ни на что не жалуются. И бабушка не жалуется — у нее всегда все хорошо. Это не дед с его постоянным визгливым «Эх вы-и-и»...

Горький выучился читать в шестилетнем возрасте по церковной псалтыри под руководством деда, с радостным удивлением обнаружившего: «Память у него, слава богу, лошадиная». Вскоре после этого мать выучила его и гражданской печати: сына она воспитывала от случая к случаю, занималась им редко, нерегулярность этих педагогических вспышек компенсировалась их бурностью. Заставляла его километрами заучивать любые стихи — он и заучивал, благодаря все той же памяти, но противился. Ему постоянно хотелось их коверкать, отсюда постоянная горьковская страсть к переделке, пародии, издевательствам над каноническими

образцами, — он и свой похвальный лист, полученный в Кунавинском начальном училище 18 июня 1878 года, испортил самодельными надписями, расшифровав НСК (Нижегородское Слободское Кунавинское) как «Наше свинское кунавинское». Действительно, смысленый был мальчик. В училище у него была кличка Башлык — он любил пересказывать сверстникам истории о разбойнике Максиме Башлыке, о котором часто говорил ему дед.

Из Кунавинского училища ему вскоре пришлось уйти, как и уехать из самого Кунавина — пригорода Нижнего, где он жил с матерью и отчимом. Мать во второй раз вышла замуж, когда ему было восемь лет, забрала его к себе, но не любила — признавалась, что любить Алексея не может, потому что видела в нем причину смерти первого мужа, действительно любимого. Второй, мелкий чиновник Максимов был младше Варвары Кашириной, бил ее, скоро довел до чахотки. Однажды Алексей увидел, как отчим замахивается ногой на мать, стоящую перед ним на коленях. Он схватил нож — единственную вещь, оставшуюся от отца, — и бросился на отчима с намерением резать его и тут же резаться самому. Мать его удержала, но оставить его в доме уже не могла: он вернулся к деду. Туда же, с маленьким сыном Николаем, переехала и Варвара: Максиму отказали от места, и он уехал из города. 5 августа 1879 года мать Горького умерла от чахотки, и вскоре после ее смерти старик Каширин сказал сироте слова, неизменно поражающие добросердечных читателей «Детства»: «Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...»

Фразой «и пошел я в люди» завершается эта повесть — финал явно обещает, что «в людях» Алешу ждало нечто еще более ужасное, чем в семье, да так оно и вышло отчасти. До шестнадцати лет, до 1884 года, будет продолжаться эта жизнь, наполненная, как напишет он впоследствии, «мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом». Кажется, любой труд, кроме радостного, азартного, артельного, творческого, он с тех пор возненавидел: скажем, бесконечно отвращал его труд

крестьянский, результаты которого всегда несоизмеримы с затраченными усилиями. Титанически трудоспособный во всем, что касалось его главного ремесла, он от души презирал любую подневольную работу и не находил в ней ни смысла, ни поэзии, чем радикально отличался от певцов народного быта.

5.

Уже осенью 1879 года его отдали в «мальчики» в обувной магазин Порхунова на главной улице тогдашнего Нижнего — Большой Покровской. Порхунов запомнился ему как маленький человечек с водянистыми глазами и зелеными зубами, а также с дежурной фразой: «Мальчик должен стоять при двери, как статуи!» Он прислуживал Порхуновым не только в магазине, но и дома, и зимой обварил руку горячими щами, после чего попал в больницу. Прележав там неделю и прожив лето дома, где все учащались ссоры бабушки с дедушкой, он поступил учеником к чертежнику и строительному подрядчику Сергееву — правда, чертить ему не довелось: он был там мальчиком на посылках, чистил самовар, колол дрова, мыл полы и лестницы во всей квартире. Жизнь у Сергеевых была невыносимо скучна, и опять все дрались и ссорились, но уже не так грубо и живописно, как в «Детстве», а худосочно, по-мещански. Вот почему повесть «В людях», при всем богатстве материала, не произвела на публику того впечатления, что «Детство», и не имела половины того успеха: в ней очень много скучных людей и нудной работы. Постараемся поскорее миновать этот унылый период: до весны 1880 года Алеша Пешков пробыл у Сергеевых, потом сбежал, поступил буфетчиком на пароход «Добрый», который иногда, вопреки своему названию, буксировал по Волге баржи с арестантами — до Камы, до Тобола, до Сибири. На одной из таких барж ехал в сибирскую ссылку Короленко — как раз летом восьмидесятого года, — но Алексей тогда понятия о нем не имел и лишь десять лет спустя явился к нему, уже прославленному журналисту и, по-нынешнему говоря,

правозащитнику, с первыми опусами.

Пароходный повар Михаил Акимович Смурый стал в русской литературе фигурой принципиальной: без него никакого писателя Горького не было бы. Это он привил маленькому буфетчику не любовь даже, а страсть к поглощению любых книг в произвольном количестве. Он заставлял Пешкова читать себе вслух — так Алексей ознакомился с «Тарасом Бульбой» и навсегда пленился им. Осенью, однако, рейсы парохода кончились, в ноябре Волга встала, и Пешкова отдали учеником в мастерскую иконописи, к хозяйке, которую он запомнил как мягкую и пьяненькую старушку. Там ему пришлось служить не только иконописцем, но и приказчиком в лавке, торгующей иконами и богослужебными книгами; основной клиентурой были купцы-старообрядцы. Горький вспоминал, что с обязанностями приказчика в свои неполные тринадцать справлялся неплохо, но заманивать покупателей, лебезить и кланяться не умел совершенно. Здесь он, однако, освоил ряд полезных премудростей: в лавке скупали у крестьян иконы древнего письма и продавали потом богатым старообрядцам за сотни рублей. Оценщик выработал свою систему шифров, чтобы надурить продавца, но намекнуть приказчику на истинную стоимость товара: если он говорил «фальша», товар был подлинный и стоил до сотни; слова «уныние и скорбь» означали десятку, а проклятие в адрес патриарха Никона «Никон-тигр» — четвертной. «Грехи» — покупай.

Думается, наблюдение таких сценок, сопровождаемых бурной божбой, не отвращало Горького от веры, а, напротив, подталкивало к ней — создаст же Господь такое чудо, как человек, во всем диапазоне его мерзости и святости! Другим чудом был приказчик Мишка, способный за два часа схомячить десять фунтов ветчины, запивая ее пивом; эту забаву Алеша Пешков ненавидел, как и налитых, жирных купцов, державших на Мишку пари. Не исключено, что из устного рассказа о ненасытном приказчике, который Горький часто повторял для друзей, прежде чем вставить в повесть, вырос рассказ Бунина «Захар Воробьев» — о мужике-богатыре, выпившем на пари

корец водки и умершем от этого. Некоторые детали — перевод часов, например, — совпадают буквально.

Старообрядчество поначалу очень нравилось Пешкову, но с годами он к нему охладел, возненавидев всякое упорствование в предрассудках. «Эта вера по привычке — одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни, — пишет он в «Моих университетах», — в области этой веры, как в тени каменной стены, все новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры — фосфорический блеск гниения».

Отсюда и его богоискательство — поиск новой веры, нового Бога, который еще не существует, но может быть создан. В чем-то эта вера, зародившаяся очень рано, в Нижнем, сродни учению Николая Федорова, русского космиста, уверенного, что человек рожден выполнить главный божественный завет: осуществить физическое бессмертие и воскрешение всех умерших. Так же и у Горького: Бога еще нет, но можно создать Его по образу и подобию человека, отталкиваясь именно от человечности как от главного чуда. Ход мысли интересный и по-своему логичный — Горький всю жизнь создавал церковь человека, неустанно ища лучшие образцы человеческой природы. В старообрядчестве его больше всего привлекал нонконформизм, вражда к официальной церкви, — но взамен никонианского гнета оно предлагало свой, и это Пешкова никак не устраивало. Вдобавок вокруг слишком много врали.

6.

Был в нижегородской жизни Пешкова эпизод, о котором он во всех биографиях умалчивал, но рассказывал критику Аркадию Горнфельду (несчастному карлику-калеке, вошедшему в историю литературы, увы, главным образом скандалом с Мандельштамом, описанным в «Четвертой прозе»). Горнфельд